



ФРЭНСИС СКОТТ  
ФИЦДЖЕРАЛЬД

*Великий Гэтсби*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Фрэнсис Фицджеральд

**Великий Гэтсби**

«Азбука-Аттикус»

1925

УДК 821.111(73)  
ББК 84(7Сое)-44

**Фицджеральд Ф. С.**

Великий Гэтсби / Ф. С. Фицджеральд — «Азбука-Аттикус»,  
1925 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-21454-5

Фрэнсис Скотт Фицджеральд – писатель, возвестивший миру о начале нового века – «века джаза», автор романов «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат» – принадлежит к числу самых крупных прозаиков США XX века. В вошедшем в настоящее издание романе «Великий Гэтсби» Фицджеральд исследует феномен «американской мечты». В образе главного героя Джея Гэтсби писателю удалось добиться удивительной гармонии в изображении притягательности мечты и неминуемого ее краха.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-389-21454-5

© Фицджеральд Ф. С., 1925

© Азбука-Аттикус, 1925

## Содержание

Фрэнсис Скотт Фицджеральд	6
1	6
2	9
3	12
4	15
Великий Гэтсби	17
Глава I	17
Глава II	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Фрэнсис Скотт Фицджеральд

## Великий Гэтсби

© Е. Д. Калашникова (наследник), перевод, 1965

© Ю. В. Ковалев (наследник), статья, 2000

© О. А. Миклухо-Маклай, примечания, 2000

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2011

Издательство АЗБУКА®

## Фрэнсис Скотт Фицджеральд

### 1

В сознании современников Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896–1940) был не просто писателем, но живой легендой, воплощением духа времени, кумиром американской молодежи 20-х годов нашего века, которая видела в нем блистательного выразителя собственного мироощущения. Эта репутация закрепилась за ним навечно, и даже сегодня американская критика продолжает именовать его «дитя бума», «сын эпохи процветания»<sup>1</sup> «лауреат джазового века»<sup>2</sup> и т. п. Основанием для подобных определений послужили не только книги писателя, но и сама жизнь его, складывавшаяся в соответствии со стандартами времени. Детство и юность его протекали вполне обыкновенно и не предвещали феерического взлета. Фицджеральд родился на Среднем Западе в небогатой семье, посещал школу, обучался в университете, служил в армии. Единственное, что отличало его от десятков тысяч других молодых людей, – это интерес к литературным занятиям. Будучи школьником, он сочинял стихи, рассказы и пьесы, не обладавшие, впрочем, высокими художественными достоинствами. В студенческие годы Фицджеральд твердо решил стать писателем, и не каким-нибудь, а непременно великим. Его однокашник Эдмунд Уилсон – впоследствии известный критик и романист – вспоминал, что Фицджеральд как-то обратился к нему со следующими словами: «Я хочу стать одним из величайших писателей, когда-либо живших на земле. А ты?» В осуществление этого своего намерения он начал писать роман, работу над которым завершил во время военной службы, протекавшей в одном из армейских лагерей в штате Алабама. Тогда же он влюбился в местную красавицу Зельду Сэйр и предложил ей руку и сердце. Ни издатели, ни красавица не захотели рисковать. Роман был отвергнут, предложение руки и сердца – тоже. Огорченный Фицджеральд, по выражению одного из его друзей, «напился, уехал домой в Сент-Пол и принялся за переделку романа».

В новом варианте книга называлась «По эту сторону рая» и была выпущена издательством Скрибнера в 1920 году. С этого момента в жизни писателя началась новая, можно сказать апокрифическая, полоса. Роман имел бешеный успех, автор получил огромный гонорар и стал на время весьма обеспеченным человеком; издательства и журналы наперебой приглашали его сотрудничать; жестокая красавица сменила гнев на милость и вышла замуж за ново-явленную знаменитость. Молодожены поселились в роскошном доме в Нью-Йорке. Знакомства с ними искали люди богатые, могущественные и знаменитые. Юный гений, которому едва исполнилось двадцать пять лет, купался в лучах славы, давал интервью направо и налево и предавался экстравагантным развлечениям в духе времени. Существует множество историй о том, как Фицджеральд проехался на крыше такси по Пятой авеню, искупался в городском фонтане; по Нью-Йорку распространялись фантастические слухи о вечеринках, которые молодая чета устраивала у себя дома. Он жил, говоря его же словами, как жили «верхние десять процентов нации – на время, взятое взаймы, с беззаботностью великих князей и легкомыслием хористок варьете».

Мало кто, однако, замечал, что Фицджеральд продолжал работать как одержимый. В ближайшие шесть лет он опубликовал три сборника новелл, пьесу и два романа («Прекрасные и проклятые», 1921; «Великий Гэтсби», 1925), не считая значительного количества журнальных рассказов. Днем и вечером он исполнял роль «лауреата джазового века», ночами писал.

---

<sup>1</sup> Период процветания, быстрого экономического роста 1924–1929 гг. в США.

<sup>2</sup> Кстати говоря, термин «джазовый век» вошел в обиход с легкой руки самого Фицджеральда, опубликовавшего в 1922 г. сборник «Рассказы джазового века».

Иными словами, жег свечу с двух концов. К середине десятилетия его физические силы были уже на исходе.

В 1924 году Фицджеральд с женой уехали в Европу, где с небольшими перерывами прожили последующие семь лет. Они примкнули к «экспатриантам», толпами покидавшим Америку в первой половине 20-х годов. Поэты, прозаики, художники, литературные критики, задыхавшиеся в атмосфере коммерческой цивилизации и не находившие способов ей противостоять, спасались бегством и не видели в том позора. «Нет ничего зазорного, – писал Малкольм Каули – известный критик, современник Фицджеральда, – в том, чтобы бежать от врага, слишком сильного, чтобы его можно было атаковать. Многие писатели 20-х годов считали наше коммерческое общество именно таким врагом и полагали, что единственная их надежда состоит в том, чтобы найти убежище от него»<sup>3</sup>. Десятки известных и сотни безвестных деятелей литературы и искусства перебирались в разоренную войной Европу. В эти годы в Париже можно было встретить Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Дж. Дос Пассоса, Т. Элиота, Г. Менкена, Э. Паунда, М. Каули, Э. Уилсона... Казалось, вся литературная молодежь Америки переселилась во Францию.

Мысль о том, что американская почва может питать искусство, представлялась экспатриантам чистой воды безумием. Показательны в этом смысле слова самого Фицджеральда, который вспоминал, как «один из экспатриантов получил письмо от общего друга, призывающее его вернуться домой, дабы черпать жизненные силы в крепких, бодрящих соках родной земли. Это было сильное письмо, – замечает Фицджеральд, – и оно произвело на нас глубокое впечатление. Но потом мы увидели, что оно было отправлено из лечебницы для нервных больных в Пенсильвании»<sup>4</sup>.

С точки зрения творческой продуктивности годы, проведенные Фицджеральдом в Европе, были «пустыми», хотя и не бесполезными. Впоследствии писатель назвал их «семь трагических, бесплодно растроченных лет». Современные критики сочли, что он «кончился» как художник. Его стали уподоблять ракете, которая взлетела, вспыхнула, рассыпалась огнями и погасла. Своим десятилетним молчанием он будто подтверждал верность этой метафоры.

В середине 30-х годов Фицджеральд опубликовал еще один роман («Ночь нежна», 1934) и сборник рассказов, но ни критика, ни читатели не оценили высоких достоинств этих произведений. С Фицджеральдом было покончено. Славу и популярность его отнесли к области модных увлечений и похоронили вместе с «джазовым веком». К моменту смерти он был уже полузабыт. Если критики и вспоминали о нем, то исключительно как о ярком мотыльке, чей век был краток. Сопоставление с мотыльком и бабочкой, столь полюбившееся журналистам, должно было символизировать мгновенно растроченный талант. Даже Хемингуэй, знавший Фицджеральда лучше многих других, не удержался от «мотыльковых» параллелей в своем известном рассуждении о судьбе Фицджеральда. «Его талант, – писал он, – был таким же естественным, как узор пыльцы на крыльях бабочки. Одно время он понимал это не больше, чем бабочка, и не заметил, как узор стерся и поблек. Позднее он понял, что крылья его повреждены, и понял, как они устроены, и научился думать, но летать больше не мог, потому что любовь к полетам исчезла, а в памяти осталось только, как легко это было когда-то»<sup>5</sup>.

Хемингуэй был не прав. Каковы бы ни были обстоятельства личной жизни Фицджеральда, он по-прежнему мог «летать». Об этом свидетельствуют не только опубликованные им в 30-е годы произведения, но и оставшееся после него рукописное наследие, посмертно преданное гласности его друзьями Э. Уилсоном и М. Каули, – роман «Последний магнат» (1941),

---

<sup>3</sup> Cowley M. Exile's return. N. Y., 1961. P. 236.

<sup>4</sup> Цит. по: Cowley M. Op. cit. P. 243.

<sup>5</sup> Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой. М., 1965. С. 92.

автобиографическая книга очерков, заметок и писем «Крах» (1945) и сборник «Рассказы Ф. Скотта Фицджеральда» (1951).

Прошло совсем немного времени, и стало очевидно, что американская критика глубоко заблуждалась, увидев в Фицджеральде всего лишь выразителя настроений «джазового века», а в его творчестве – явление хоть и яркое, но недолговечное. Уже во второй половине 50-х годов началось мощное возрождение интереса к произведениям и к самой личности писателя. Были многократно переизданы его книги, написана его биография, опубликована переписка, появилось несколько монографий и даже романы о его жизни.

Теперь уже не вызывает сомнений, что творчество Фицджеральда, наряду с сочинениями Ш. Андерсона, Э. Хемингуэя, Т. Вулфа, – явление в высшей степени значительное и характерное для американской литературы, что оно отражает целую эпоху в развитии американского сознания, не ограниченную узким идеологическим спектром «джазового века».

## 2

Книги Фицджеральда трагичны, как трагично его мироощущение и творческое сознание. Критики обычно возводят истоки этого трагизма к двум моментам: обстоятельствам чисто личного, биографического плана и к идеологии так называемого «потерянного поколения». К тому есть определенные основания.

Даже в 20-е годы – самый счастливый период в жизни Фицджеральда – существование его было далеко не безоблачным. Огромная популярность, экстравагантный образ жизни, всевозможные эскапады в стиле «джазового века» – все это составляло лишь оболочку бытия, его поверхностный слой, под которым скрывался напряженнейший труд, далеко не всегда приносящий удовлетворение. Сам Фицджеральд делил свои произведения на две категории: «настоящие вещи», такие, как, например, «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат», и откровенный «ширпотреб», который писался для популярных журналов с единственной целью заработать деньги. Существует легенда, сочиненная самим Фицджеральдом и пересказанная Хемингуэем, о том, как именно создавались «журнальные рассказы»: он «писал рассказы, которые считал хорошими, – и которые действительно были хорошими – для «Сэтердэй ивнинг пост», а потом перед отсылкой в редакцию переделывал их, точно зная, с помощью каких приемов их можно превратить в ходкие журнальные рассказы. Меня это возмутило, – замечает Хемингуэй, – и я сказал, что, по-моему, это проституирование. Он согласился, что это проституирование, но сказал, что вынужден так поступать, потому что журналы платят ему деньги, необходимые, чтобы писать настоящие книги. Я сказал, что, по-моему, человек губит свой талант, если пишет хуже, чем он может писать. Скотт сказал, что сначала он пишет настоящий рассказ, и то, как он его потом изменяет и портит, не может ему повредить»<sup>6</sup>. К сожалению, все это не более чем легенда. Попытки исследователей отыскать «хорошие» черновики ходовых рассказов ни к чему не привели.

Несмотря на сравнительно высокие гонорары, писатель не вылезал из долгов. Доля «ширпотреба» в его творчестве неукоснительно увеличивалась. После 1924 года он надолго забросил «настоящие вещи». Разрыв между «Великим Гэтсби» и романом «Ночь нежна» составил десять лет, заполненных в основном сочинением журнальных рассказов невысокого художественного достоинства. Фицджеральда не покидало ощущение, что он полностью израсходовал свой талант и не способен более ни на что, кроме как на ремесленные поделки. Оно накладывалось на огромную усталость, связанную с перенапряжением физических и душевных сил. Отсюда тяжелый невроз, бессонница, пристрастие к спиртному, которое со временем приобрело болезненные формы. Если прибавить к этому, что жена писателя еще в 20-е годы заболела тяжелой формой шизофрении и ему приходилось периодически помещать ее в дорогостоящие заведения для душевнобольных, а сам он был болен туберкулезом легких и вынужден был время от времени ложиться в больницу, то нетрудно увидеть, что трагический элемент в мироощущении и творчестве Фицджеральда вполне мог иметь биографическую природу. История жизни писателя допускает такое толкование.

Однако нельзя отказать в основательности суждений и тем критикам, которые объясняют специфический характер творческого сознания Фицджеральда его принадлежностью к так называемому «потерянному поколению». Мы берем этот термин в кавычки в силу его условности и некоторой нечеткости. История литературы относит к «потерянным» поколение писателей, в чьем сознании Первая мировая война произвела сокрушительный переворот. Многие из них, как, например, Олдингтон, Хемингуэй, Ремарк, принимали непосредственное участие в кровопролитных сражениях и затем использовали трагический опыт окопной жизни

<sup>6</sup> Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой. С. 98.

в первых своих книгах, определивших, так сказать, лицо поколения («Смерть героя», «Прощай, оружие!», «На Западном фронте без перемен»). Другие – по возрасту ли, по состоянию здоровья или по иным причинам – не попали на театр военных действий и переживали войну в «тыловых» обстоятельствах, что порою, как показал Олдингтон, было не менее страшно. Все они пережили внутреннюю катастрофу, наступившую в тот момент, когда пришло осознание подлинных причин и целей войны, когда возникло пусть еще не очень ясное понимание, за что именно было заплачено десятками миллионов жизней, страданием и кровью.

Само собой разумеется, что в массе своей «потерянное поколение» постигло великую ложь шовинистических и псевдодемократических лозунгов, смутно ощутило подлинный смысл кровопролитной бойни и, главное, пришло к убеждению, что сама война явилась порождением и следствием существующего «порядка вещей» или, говоря иными словами, социальной организации мира. Отсюда ненависть и презрение к традиционным ценностям и идеалам, к выработанным буржуазным обществом нравственным и социальным понятиям, жизненному укладу, философским представлениям о человеке и смысле бытия. Литература «потерянного поколения» была литературой протеста, литературой отрицания, стоического, как у Хемингуэя, яростного, как у Ремарка и Олдингтона.

Фицджеральд тоже принадлежал к этому поколению. Он не попал на фронт, хотя, как и многие другие, обманутые фальшивыми лозунгами о защите демократических свобод, стремился к этому. Ему не довелось пережить газовые атаки, пролить кровь или видеть, как ее проливали другие. В его книгах нет описания сражений, и герои его не сидят в окопах, не дерутся врукопашную. Тем не менее духовно, интеллектуально, эмоционально Фицджеральд был заодно с «потерянными». Жизненный материал, с которым он сталкивался, был другим, но взгляд – тот же. И выводы – сходные. Наблюдая разгон демонстрации демобилизованных солдат в 1919 году, он несколько неожиданно заключает: «Если обожравшиеся бизнесмены имеют такую власть над правительством, то вполне вероятно, что мы и впрямь вступили в войну ради займов Д. П. Моргана»<sup>7</sup>. Так мог бы написать Дос Пассос. Или Ремарк. В той степени, в какой трагическое мироощущение было присуще «потерянному поколению», оно было присуще и Фицджеральду. И следовательно, мы должны согласиться с критиками, которые видят в этом еще один источник трагизма его книг.

Итак, Фицджеральд – «лауреат» и певец «джазового века» и Фицджеральд – один из «потерянных», писатель-бунтарь, чье творческое сознание окрашено в трагические тона. Нет ли тут противоречия? Разумеется есть, если полностью отождествлять, как это делают некоторые историки литературы, понятие «джазовый век» с понятиями «бума» и «просперити». Но если вникнуть поглубже в реальное их содержание, то окажется, что никакого противоречия тут нет.

Характерно, что для обозначения границ «джазового века» Фицджеральд выбрал «первомайские беспорядки 1919 года» и грандиозную биржевую панику в октябре 1929 года, с которой принято связывать начало затяжного экономического кризиса, подчеркивая таким образом особый характер означенного десятилетия.

У «джазового века» был тревожный подтекст. Сам Фицджеральд подчеркивал, что в начале 20-х годов слово «джаз» содержало особый оттенок, не имеющий никакого отношения к музыке. «Когда говорят о джазе, – писал он, – имеют в виду состояние нервной взвинченности, примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта. Для многих англичан та война все еще не окончена, ибо силы, им угрожающие, по-прежнему активны; а стало быть, давайте жить, пока живы, веселиться, пока завтра за нами не явится смерть. То же самое настроение появилось теперь – хотя и по другим причинам

<sup>7</sup> Fitzgerald F. S. The crack up. N. Y., 1956. P. 13.

– в Америке...»<sup>8</sup>. В экстравагантных безумствах молодого поколения слышались надрывные, истерические нотки. Да и сами эти безумства в известном смысле были актом протеста. Недаром Фицджеральд писал, что события 1919 года неизбежно «привели к отчуждению мыслящей молодежи от господствующей системы»<sup>9</sup>, породили в ней цинизм, отвращение к «Великим Целям», о которых неустанно трубила буржуазная пропаганда, ненависть к политике и общее недоверие к традиционным идеологическим принципам, обнаружившим полную свою несостоятельность. Вместе с «потерянным поколением» американская молодежь усомнилась в мудрости предшествующих поколений, доведшей мир до империалистической войны, и в способности «отцов» управлять страной. Далекое не случайно первый роман Фицджеральда назывался «По эту сторону рая». Слова эти – скрытая цитата из популярного стихотворения английского поэта Руперта Брука «Тиара с острова Таити». У Брука они означают «здесь на земле» или «здесь в этой жизни», а общий пафос стихотворения – сомнение в мудрости «благоразумных».

В статье Фицджеральда «Эхо джазового века», написанной в 1931 году, есть важные слова, помогающие понять позицию его сверстников: «События 1919 года сделали нас скорее циниками, чем революционерами, хотя мы до сих пор роемся в чемоданах, удивляясь, куда, к дьяволу, подевались наш Колпак Свободы – «ведь был же где-то!» – и мужицкая рубашка. Для джазового века было характерно, что мы совсем не интересовались политикой»<sup>10</sup>. Политикой они не интересовались, политика была «грязным делом». Ею занимались «благоразумные» мудрецы. Но где-то подспудно жила тревога: что случилось с идеалами американской демократии? Фригийский колпак и мужицкая рубашка – прямые, открытые символы. Они не нуждались в расшифровке.

Из сказанного со всей очевидностью следует, что «эпоха просперити» в США вовсе не была временем безоблачного процветания и сплошного экономического бума и что трагизм фицджеральдовских книг объясняется не только биографическими мотивами и принадлежностью писателя к «потерянному поколению», но и самой американской действительностью «джазового века». Именно она породила у молодого поколения чувство, сформулированное в словах героя первого романа Фицджеральда: «Все боги умерли, все войны отгремели, вся вера подорвана».

---

<sup>8</sup> Fitzgerald F. S. The crack up. P. 16.

<sup>9</sup> Ibid. P. 13.

<sup>10</sup> Ibid. P. 14.

## 3

«Очень богатые люди» – термин, введенный Фицджеральдом. Он шире, чем его прямое значение. Это не обязательно люди, у которых много денег. И даже не всякий человек, у которого много денег, относится к «очень богатым людям». Среди героев Фицджеральда есть такие, у кого денег немного, и они даже работают, но тем не менее относятся к касте «очень богатых». У Джэя Гэтсби в «Великом Гэтсби», напротив, денег куры не клюют, но все-таки его нельзя причислить к «очень богатым», хотя он и стремится к этому всей душой.

Среди рассказов Фицджеральда есть один, который представляет в данном случае специальный интерес. Рассказ этот – «Молодой богач» – знаменит и сам по себе, и потому, что его использовал, не слишком корректно, Хемингуэй. Герой его новеллы «Снега Килиманджаро» размышляет о своем опыте общения с богачами: «Богатые – скучный народ, все они слишком много пьют... Скучные и все на один лад. Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда, и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и, когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его еще больше, чем что-либо другое»<sup>11</sup>.

Ознакомившись с новеллой, Фицджеральд возмутился и написал Хемингуэю письмо, в котором потребовал, чтобы тот при последующих переизданиях «Снегов Килиманджаро» не упоминал его имени. Хемингуэй признал правоту Фицджеральда и выполнил его просьбу.

В целях полной ясности процитируем соответствующее место из «Молодого богача»: «Я вам вот что скажу про очень богатых: они не такие, как мы с вами. Обладание и наслаждение даны им сызмальства, и от этого с ними что-то такое происходит, от чего они делаются податливы там, где мы сохраняем твердость, циничны там, где мы доверчивы, и понять, что тут и как, очень трудно, если ты не родился богатым. В глубине души они думают, что они лучше нас. Даже когда они нисходят в наш мир и опускаются ниже нас, они все равно думают, что они лучше нас. Они не такие, как мы с вами».

Из этого фрагмента, если перевести его метафоры на логический язык, со всей очевидностью следует, что в понимании писателя «очень богатый человек» – это социально-психологический тип, возникающий во втором, третьем и т. д. поколениях «денежных» семей.

Можно сказать, что для Фицджеральда «очень богатые люди» – это наследственная аристократия доллара. Непременно наследственная. Мир очень богатых – это мир кастовый, замкнутый. Он проникнут самоощущением элитарности и строго хранит непроницаемость своих границ. Даже старая европейская аристократия не обладала столь интенсивным чувством собственной исключительности, как нынешняя аристократия доллара, и не отделяла себя от «всех прочих» с такой свирепой решительностью. Проникнуть в их среду, стать «своим» – дело почти безнадежное.

Естественно, возникает вопрос: откуда у Фицджеральда этот пристальный и напряженный интерес к «очень богатым», к стилю их жизни, ко всему тому, что делает их «непохожими на нас с вами»? Поверим ли Хемингуэю, утверждавшему, что писатель «считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности», и критикам, которые полагали, что Фицджеральд был заморожен блеском богатства и образом жизни состоятельных бездельников? Поверим, но не до конца, не на все сто процентов. Интерес к миру «очень богатых» никогда не исчерпывался у Фицджеральда желанием приобщиться к нему, хотя, спору нет, в юные годы такое желание было ему свойственно. С течением времени этот интерес становился глубже, острее и

<sup>11</sup> Хемингуэй Э. Избранные произведения. М., 1959. Т. 2. С. 304.

бесстрастнее. Мир «очень богатых» в сознании писателя перестал быть страной молочных рек и кисельных берегов, но занял свое место в социальной структуре американского общества. Более того, самый класс «очень богатых» представился теперь писателю как закономерное, хоть и прискорбное, следствие исторического развития.

30-е годы в Америке вошли в историю под именем «красного десятилетия». То было время бурное и жестокое. За экономическим крахом 1929 года последовал период глубокой депрессии, массовой безработицы, банкротств и локаутов. Начался мощный подъем рабочего движения, стачки и забастовки, подобно пожару, распространялись по предприятиям страны. Вспыхнул острый интерес к социалистическим теориям, к марксизму, к опыту Страны Советов. Все это, разумеется, не могло не оказать воздействия на литературную жизнь США. Многие писатели приняли непосредственное участие в бурных событиях эпохи. Другие не участвовали в забастовках, не подписывали воззваний, не печатали публицистических статей и книг, но и на них атмосфера времени оказывала самое интенсивное влияние. Менялось их мировосприятие, отношение к национальному социально-историческому опыту и ко многим другим вещам. К их числу принадлежал и Фицджеральд, всерьез задумавшийся о судьбах демократии и свободы в США.

В творчестве Фицджеральда, как капле воды, отразилась общая идеологическая ломка, характерная для духовной жизни Америки в период между двумя мировыми войнами. До Первой мировой войны сознание американской интеллигенции в массе своей было ориентировано на буржуазно-демократическую идеологию и просветительскую этику. Благородное прошлое страны воплощалось в монументальных фигурах Вашингтона, Джефферсона, Адамса, Хэнкока, а родоначальником американской нравственности, науки и искусства почитался Франклин. «Отцы-основатели» нового государства заложили основы общества, в котором, как им казалось, человеку было гарантировано его естественное и неотчуждаемое право на свободу, равенство и стремление к счастью. Свобода и равенство в этой триаде играли, так сказать, подчиненную роль. Они должны были способствовать реализации стремления к счастью. Но именно здесь и обнаруживала себя буржуазная ограниченность благородного просветительского идеала. Очень быстро в американском сознании выкристаллизовалось понимание счастья как материального успеха. Само понятие счастья уравнилось с понятием богатства. Поначалу казалось, что богатства хватит на всех и что приобрести его вполне возможно трудом собственных рук. Нужно только не лениться. Вскоре, однако, обнаружилось, что все это совсем не так и что освященные буржуазной этикой методы приобретения богатства ведут к результатам, уничтожающим самые основы демократического общества. Свобода и равенство, призванные служить гарантами успеха человеческой деятельности на пути к достижению счастья, пали первыми жертвами неумеренного стремления к обогащению. Они превратились в своего рода атрибуты, в производное от богатства. Если ты богат, то можешь претендовать на свободу и равенство с другими. А нет так нет. Сложилась парадоксальная ситуация: общество, гордившееся своим демократизмом, уничтожало самые основы демократии с невиданным усердием.

В переломные моменты истории многие неотчетливые процессы в социальной и духовной жизни народов обретают ясность очертаний, их смысл становится наглядным и очевидным. Неудивительно, что Первая мировая война заставила американцев переосмыслить многое в собственной истории и идеологии. Она положила начало разрушению святынь. Об «отцах-основателях» стали отзываться иронически. Неожиданную популярность приобрели очерки Д. Лоуренса, в которых читатели находили саркастический портрет Франклина как творца нравственного кодекса, созданного словно по заказу мультимиллионера Эндрю Карнеги, которому надо было как-то держать рабочих в узде.

Чем дальше, тем стремительнее шел процесс переоценки привычных, устоявшихся ценностей, подстегиваемый бурным течением экономической и социальной жизни США. Сам этот процесс разрушения святынь и переоценки ценностей был неизбежным следствием широкого

осознания того факта, что попытки реализовать так называемую «американскую мечту», опираясь на принципы буржуазной идеологии и нравственности, привели к чудовищным результатам, прямо противоположным идеальным предназначениям: неравенству вместо равенства, закреплению вместо свободы, страданию вместо счастья и т. д.

Фицджеральд не только не стоял в стороне от этого процесса, но был захвачен им с необыкновенной силой. Как художника его внимание привлекала к себе прежде всего проблема равенства. Историография рисовала перед ним славные картины из области прошлого, когда демократия восторжествовала над аристократией, над системой наследственных привилегий, над замкнутой кастой, которая возвышалась над народом, презирала законы и жила в глубоком убеждении собственного превосходства. Но мысль о том, что эта же самая демократия породила новую аристократию, чудовищно напоминающую аристократию старую, жгучей болью отзывалась в душе писателя. Аристократия, рожденная демократией, – это представление в сознании Фицджеральда превратилось со временем в навязчивую эстетическую идею.

## 4

Творческое наследие Скотта Фицджеральда обладает абсолютной эстетической ценностью. Чтение его произведений сегодня, как и много лет назад, доставляет высокое художественное наслаждение, воздействует на мысль и эмоции читателя, побуждает его к сопереживанию. Такова судьба лучших творений мировой литературы. Пребывая в статусе литературных памятников той или иной эпохи, они сохраняют, так сказать, динамику бытия, живую душу и продолжают волновать все новые и новые поколения читателей.

Однако значение творческого наследия Фицджеральда не исчерпывается его абсолютной эстетической ценностью. Оно в большой степени определяется той ролью, которую книги писателя сыграли в литературной истории Соединенных Штатов.

Выше уже говорилось о том, что в духовной жизни Америки 20-е годы были эпохой идеологической ломки, переоценки ценностей, выработанных национальным буржуазным сознанием в процессе исторического развития страны. Литература, как одна из форм общественного сознания, естественно, не могла остаться в стороне. Отказываясь от традиционных понятий, представлений и принципов, она мучительно стремилась обрести новые ценности, и в этом своем стремлении искала опору в прошлом, в антипрагматических, гуманистических тенденциях минувших времен. Взоры литературной молодежи 20-х годов закономерно обратились к середине XIX века, к наследию великих философов, поэтов и прозаиков эпохи романтизма. Началась полоса романтического возрождения. Творчество Эмерсона, Торо, Готорна, Мелвилла, По, Уитмена сделалось предметом живейшего интереса.

Американские романтики были первыми бунтарями и нонконформистами в истории национальной литературы. Их сочинения были исполнены яростного протеста против деяческой философии, утилитарной этики, политической коррупции, социального неравенства и несправедливости. Они усомнились в плодотворности принципов, положенных в основу капиталистической экономики и буржуазной социальной организации. Они мучились сознанием бездуховности «новой» Америки, ее безразличием к человеку, его судьбе, его личности, его бессмертной душе.

Философы и писатели прошлого века разработали художественную систему, опирающуюся на концепцию романтического гуманизма. Центральное положение в этой системе занимала неповторимая человеческая личность, а точнее говоря, сознание человека. В сущности, вся романтическая литература была художественным исследованием различных аспектов индивидуального сознания: нравственности, интеллекта, психологии, эмоционального строя, способности к гармоническому развитию, инстинкта красоты и т. п. Усовершенствование или даже революционное преобразование индивидуального сознания мыслилось романтиками как единственно возможный путь перестройки общества. То была великая иллюзия. Несбыточность ее лежит в основе глубочайшего пессимизма, окрашивающего позднеромантическую литературу в США.

Современники Фицджеральда заново открывали романтическую литературу. В ней они находили ценности, утраченные, как им казалось, в ходе прогресса буржуазной цивилизации. Начался процесс освоения романтической идеологии и эстетики, включения завоеваний романтизма в реалистическую систему художественного мышления. Процесс этот был сложен, но плодотворен. Конечным его результатом явилось возникновение нового типа крупномасштабного реалистического повествования, в котором противоречивая картина современного мира предстает преломленной через личностное сознание человека. Блистательными образцами подобного рода произведений явились выдающиеся творения младших современников Фицджеральда – Э. Хемингуэя, Т. Вулфа, У. Фолкнера, но прежде всего в этом ряду следует назвать, конечно, самого Фицджеральда. Автор отечественной монографии о его творчестве

справедливо замечает, что «в сложный период поисков первых двух десятилетий нашего века, когда литература США набирала силы для громадного скачка, сделанного ею после Первой мировой войны, большинство американских прозаиков гораздо сильнее привлекала задача критического изображения общества в целом, чем характерная для лириков интроспекция. Подобная тенденция, побуждавшая художников идти от общего к частному, весьма наглядно проявила себя тогда в творчестве таких писателей, как Теодор Драйзер и Фрэнк Норрис, Джек Лондон и Синклер Льюис, Эптон Синклер и Линкольн Стеффенс»<sup>12</sup>. «Громадный скачок», о котором говорит Горбунов, оказался в значительной мере возможен благодаря усилиям Фицджеральда, «перекинувшего мост» от традиции романтического гуманизма к реалистическим завоеваниям современной прозы.

*Ю. В. Ковалев*

---

<sup>12</sup> Горбунов А. Н. Романы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. М., 1974. С. 6–7.

# Великий Гэтсби

## Глава I

В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память.

– Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, – сказал он, – вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты.

К этому он ничего не добавил, но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов, и мне было ясно, что думал он гораздо больше, чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдержанности в суждениях – привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурам и еще чаще делала меня жертвой матерых надоед. Нездоровый ум всегда сразу чувствует эту сдержанность, если она проявляется в обыкновенном, нормальном человеке, и спешит за нее уцепиться; еще в колледже меня незаслуженно обвиняли в политиканстве, потому что самые нелюдимые и замкнутые студенты поверяли мне свои тайные горести. Я вовсе не искал подобного доверия – сколько раз, заметив некоторые симптомы, предвещающие очередное интимное признание, я принимался сонно зевать, спешил уткнуться в книгу или напускал на себя задорно-легкомысленный тон; ведь интимные признания молодых людей, по крайней мере, та словесная форма, в которую они облечены, представляют собой, как правило, плагиат и к тому же страдают явными недомолвками. Сдержанность в суждениях – залог неиссякаемой надежды. Я до сих пор опасуюсь упустить что-то, если позабуду, что (как не без снобизма говорил мой отец и не без снобизма повторяю за ним я) чутье к основным нравственным ценностям отпущено природой не всем в одинаковой мере.

А теперь, похвалившись своей терпимостью, я должен сознаться, что эта терпимость имеет пределы. Поведение человека может иметь под собой разную почву – твердый гранит или вязкую трясину; но в какой-то момент мне становится наплевать, какая там под ним почва. Когда я прошлой осенью вернулся из Нью-Йорка, мне хотелось, чтобы весь мир был морально затянут в мундир и держался по стойке «смирно». Я больше не стремился к увлекательным вылазкам с привилегией заглядывать в человеческие души. Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я делал исключение, – Гэтсби, казалось воплощавшего собой все, что я искренне презирал и презираю. Если мерить личность ее умением себя проявлять, то в этом человеке было поистине нечто великолепное, какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни, словно он был часть одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой «артистическим темпераментом», – это был редкостный дар надежды, романтический запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверно, не встречу. Нет, Гэтсби себя оправдал под конец; не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты, – вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям впопыхах.

Я принадлежу к почтенному зажиточному семейству, вот уже в третьем поколении играющему видную роль в жизни нашего среднезападного городка. Каррауэи – это целый клан, и, по семейному преданию, он ведет свою родословную от герцогов Бэклу, но родоначальником нашей ветви нужно считать брата моего дедушки, того, что приехал сюда в 1851 году, послал за себя наемника в Федеральную армию и открыл собственное дело по оптовой торговле скобяным товаром, которое ныне возглавляет мой отец.

Я никогда не видал этого своего предка, но считается, что я на него похож, чему будто бы служит доказательством довольно мрачный портрет, висящий у отца в конторе. Я окончил Йельский университет<sup>13</sup> в 1915 году, ровно через четверть века после моего отца, а немного спустя я принял участие в Великой мировой войне – название, которое принято давать запоздалой миграции тевтонских племен. Контрнаступление настолько меня увлекло, что, вернувшись домой, я никак не мог найти себе покоя. Средний Запад казался мне теперь не кипучим центром мироздания, а скорее обтрепанным подолом вселенной; и в конце концов я решил уехать на Восток и заняться изучением кредитного дела. Все мои знакомые служили по кредитной части; так неужели там не найдется места еще для одного человека? Был созван весь семейный синклит, словно речь шла о выборе для меня подходящего учебного заведения; тетушки и дядюшки долго совещались, озабоченно хмуря лбы, и наконец нерешительно выговорили: «Ну что-о ж...» Отец согласился в течение одного года оказывать мне финансовую поддержку, и вот, после долгих проволочек, весной 1922 года я приехал в Нью-Йорк, как мне в ту пору думалось – навсегда.

Благоразумней было бы найти квартиру в самом мом Нью-Йорке, но дело шло к лету, а я еще не успел отвыкнуть от широких зеленых газонов и ласковой тени деревьев, и потому, когда один молодой сослуживец предложил поселиться вместе с ним где-нибудь в пригороде, мне эта идея очень понравилась. Он подыскал и дом – крытую толем хибарку за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма откомандировала его в Вашингтон, и мне пришлось устраиваться самому. Я завел собаку, – правда, она сбежала через несколько дней, – купил старенький «додж» и нанял пожилую финку, которая по утрам убирала мою постель и готовила завтрак на электрической плите, бормоча себе под нос какие-то финские премудрости. Поначалу я чувствовал себя одиноким, но на третье или четвертое утро меня остановил близ вокзала какой-то человек, видимо только что сошедший с поезда.

– Не скажете ли, как попасть в Уэст-Эгг? – растерянно спросил он.

Я объяснил. И когда я зашагал дальше, чувства одиночества как не бывало. Я был старожилом, первопоселенцем, указывателем дорог. Эта встреча освободила меня от невольной скованности пришельца.

Солнце с каждым днем пригревало сильнее, почки распукались прямо на глазах, как в кино при замедленной съемке, и во мне уже крепла знакомая, приходившая каждое лето уверенность, что жизнь начинается сызнова.

Так много можно было прочесть книг, так много впитать животворных сил из напоенного свежестью воздуха. Я накопил учебников по экономике капиталовложений, по банковскому и кредитному делу, и, выстроившись на книжной полке, отливая червонным золотом, точно монеты новой чеканки, они сулили раскрыть передо мной сверкающие тайны, известные лишь Мидасу<sup>14</sup>, Моргану<sup>15</sup> и Меценату<sup>16</sup>. Но я не намерен был ограничить себя чтением только этих книг. В колледже у меня обнаружили литературные склонности – я как-то написал серию весьма глубокомысленных и убедительных передовиц для «Йельского вестника», – и теперь я намерен был снова взяться за перо и снова стать самым узким из всех узких специалистов – так

---

<sup>13</sup> *Йельский университет* — один из крупнейших и старейших университетов США, основан в 1701 г. как колледж Коннектикута. Находится в городе Нью-Хейвене на юге штата.

<sup>14</sup> *Мидас* — царь Фригии (Малая Азия) в 738–696 гг. до н. э. Согласно греческому мифу, Мидас был наделен Дионисом способностью обращать в золото все, к чему бы он ни прикасался.

<sup>15</sup> *Джон Пирпонт Морган* (1837–1913) – американский финансист и промышленник, начал заниматься финансами в 1873 г., основал собственную фирму «Дж. П. Морган и К<sup>о</sup>» в 1895 г., а уже в 1901 г. создал первую в мире корпорацию с многомиллиардным капиталом («Юнайтед Стейтс стил»). Занимался благотворительностью, свое собрание картин и книг завещал Музею Метрополитен и Библиотеке Моргана в Нью-Йорке.

<sup>16</sup> *Гай Цильний Меценат* (между 74 и 64 – 8 до н. э.) – в Древнем Риме приближенный императора Августа. Выполнял его дипломатические, политические и частные поручения, покровительствовал поэтам (Вергилию, Горацию, Проперцию и др.). Имя Меценат стало нарицательным для обозначения покровителя наук и искусств.

называемым человеком широкого кругозора. Это не парадокс парадокса ради; ведь, в конце концов, жизнь видишь лучше всего, когда наблюдаешь ее из единственного окна.

Случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. На длинном, прихотливой формы острове, протянувшемся к востоку от Нью-Йорка, есть среди прочих капризов природы два необычных с точки зрения рельефа образования. Милях в двадцати от города, на задворках пролива Лонг-Айленд, самого обжитого куска водного пространства во всем западном полушарии, вдаются в воду два совершенно одинаковых мыса, разделенных лишь неширокой бухточкой. Каждый из них представляет собой почти правильный овал – только, подобно колумбову яйцу, сплюснутый у основания; при этом они настолько повторяют друг друга очертаниями и размерами, что, вероятно, чайки, летая над ними, не перестают удивляться этому необыкновенному сходству. Что до бескрылых живых существ, то они могут наблюдать феномен еще более удивительный – полное различие во всем, кроме очертаний и размеров.

Я поселился в Уэст-Эгге, менее, – ну, скажем так: менее фешенебельном из двух поселков, хотя этот словесный ярлык далеко не выражает причудливого и даже несколько зловещего контраста, о котором идет речь. Мой домик стоял у самой оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами, из тех, за которые платят по двенадцать – пятнадцать тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа – точная копия какого-нибудь Hôtel de Ville<sup>17</sup> в Нормандии, с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в сорок с лишним акров земли.

Я знал, что это усадьба Гэтсби. Точней, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто, и потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров – все за восемьдесят долларов в месяц.

На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы фешенебельного Ист-Эгга, и, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой «додж» и поехал на ту сторону, к Бьюкененам в гости. Дэзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой, а Тома я знал еще по университету. И как-то, вскоре после войны, я два дня прогостил у них в Чикаго.

Том, наделенный множеством физических совершенств – нью-хейвенские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, – был фигурой, в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к двадцати одному году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты – уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания, – и теперь, вздумав перебраться из Чикаго на Восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным: привез, например, из Лейк-Форест целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей.

Не знаю, что побудило их переселиться на Восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин, потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. Теперь они решили прочно осесть на одном месте, сказала мне Дэзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дэзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста.

---

<sup>17</sup> Ратуша (фр.).

Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал в Ист-Эгт навестить двух старых друзей, которых, в сущности, почти не знал. Их резиденция оказалась еще изысканней, чем я рисовал себе. Веселый красный с белым дом в георгианско-колониальном стиле смотрел фасадом в сторону пролива. Зеленый газон начинался почти у самой воды, добрую четверть мили бежал к дому между клумб и дорожек, усыпанных кирпичной крошкой, и наконец, перепрыгнув через солнечные часы, словно бы с разбегу взлетал по стене вьющимися виноградными лозами. Ряд высоких двустворчатых окон прорезал фасад по всей длине; сейчас они были распахнуты навстречу теплому вечернему ветру, и стекла пламенели отблесками золота, а в дверях, широко расставив ноги, стоял Том Бьюкенен в костюме для верховой езды.

Он изменился с нью-хейвенских времен. Теперь это был плечистый тридцатилетний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза: от их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь; казалось, могучим икрам тесно в глянцевитых крагах, так что шнуровка вот-вот лопнет, а при малейшем движении плеча видно было, как под тонким сукном ходит плотный ком мускулов. Это было тело, полное сокрушительной силы, – жестокое тело.

Он говорил резким, хрипловатым тенором, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, – человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности, – в Нью-Хейвене многие его за это терпеть не могли. Казалось, он говорил: «Я, конечно, сильнее вас, и вообще я не вам чета, но все же можете не считать мое мнение непререкаемым». На старших курсах мы с ним состояли в одном студенческом обществе, и, хотя дружбы между нами никогда не было, мне всегда казалось, что я ему нравлюсь и что он по-своему, беспокойно, с вызовом, старается понравиться мне.

Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце.

– Недурное у меня тут пристанище, – сказал он, посверкивая глазами по сторонам.

Слегка нажимая на мое плечо, чтобы заставить меня повернуться, он широким движением руки обвел открывающуюся с крыльца панораму, включая в нее итальянский, уступами расположенный сад, пол-акра прямо благоухающих роз и тупоносую моторную яхту, покачивающуюся в полосе прибоя.

– Я купил эту усадьбу у Демэйна, нефтяника. – Он снова нажал на мое плечо, вежливо, но круто поворачивая меня к двери. – Ну, пойдём.

Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. Окна были распахнуты и сверкали белизной на фоне зелени, как будто вставшей в дом. Легкий ветерок гулял по комнате, трепля занавеси на окнах, развевавшиеся, точно бледные флаги, – то вдувал их внутрь, то выдувал наружу, то вдруг вскидывал вверх, к потолку, похожему на свадебный пирог, облитый глазурью, а по винно-красному ковру рябью бежала тень, как по морской глади под бризом.

Единственным неподвижным предметом в комнате была исполинская тахта, на которой, как на привязанном к якорю аэростате, укрылись две молодые женщины. Их белые платья подрагивали и колыхались, как будто они обе только что опустились здесь после полета по дому. Я, наверно, несколько мгновений простоял, слушая, как полощутся и хлопают занавеси и поскрипывает картина на стене. Потом что-то стукнуло – Том Бьюкенен затворил окна с одной стороны, – и попавшийся в западню ветер бессильно замер, а занавеси, и ковер, и обе молодые женщины на тахте постепенно опали и застыли в неподвижности.

Младшая из двух женщин была мне незнакома. Она растянулась во весь рост на своем конце тахты и лежала не шевелясь, чуть закинув голову, как будто на подбородке у нее стоял какой-то предмет, который она с большим трудом удерживала в равновесии. Может быть, она

и заметила меня краешком глаза, но виду не подала; и от растерянности я чуть было не забормотал извинения, что помешал ей своим приходом.

Другая – это была Дэзи – сделала попытку встать; слегка подалась вперед с озабоченным выражением; но тут же засмеялась звенящим, обворожительно нелепым смехом, и я тоже засмеялся и шагнул к дивану.

– На м-меня от радости столбняк нашел.

Она опять засмеялась, словно сказала что-то в высшей степени остроумное, и на миг удержала мою руку, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию эквилибристки на другом конце дивана: Бейкер. (Злые языки утверждали, что шепоток Дэзи – уловка, цель которой заставить собеседника наклониться к ней поближе; бессмысленный навет, ничуть не лишаящий эту манеру прелести.)

Так или иначе, губы мисс Бейкер дрогнули, она едва заметно кивнула мне головой и тотчас же опять откинула ее назад, – должно быть, предмет, стоявший у нее на подбородке, качнулся, и она испугалась, что он упадет. Мне снова неудержимо захотелось извиниться. Апломб и независимость, в чем бы они ни проявлялись, всегда действуют на меня ошеломляюще.

Моя кухня стала задавать мне вопросы своим низким, волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дэзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза и яркий чувственный рот, но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины, – певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радостей, только что миновавших, и веселья и радостей, ожидающих впереди.

Я рассказал, что по дороге в Нью-Йорк останавливался на день в Чикаго, и передал ей привет от десятка друзей.

– Так обо мне там скучают? – ликуя, воскликнула она.

– Весь город безутешен. У всех машин левое заднее колесо выкрашено черной краской в знак траура, а берега озера всю ночь оглашаются плачем и стенаниями.

– Какая прелесть! Давай вернемся, Том. Завтра же! – И без всякого перехода она добавила: – Посмотрел бы ты на нашу малышку!

– Я бы очень хотел на нее посмотреть.

– Она уже спит. Ей ведь три года. Ты ее никогда не видел?

– Никогда.

– Ну, если бы ты только на нее посмотрел... Она...

Том Бьюкенен, беспокойно бродивший из угла в угол, остановился и положил мне руку на плечо.

– Чем теперь занимаешься, Ник?

– Кредитными операциями.

– У кого?

Я назвал.

– Никогда не слышал, – высокомерно уронил он.

Меня задело.

– Услышишь, – коротко возразил я. – Непременно услышишь, если думаешь обосноваться на Востоке.

– О, насчет этого можешь быть спокоен, – сказал он, глянул на Дэзи и тотчас же снова перевел глаза на меня, будто готовясь к отпору. – Не такой я дурак, чтобы отсюда уехать.

Тут мисс Бейкер сказала: «Факт!» – и я даже вздрогнул от неожиданности: это было первое слово, которое она произнесла за все время. По-видимому, ее самое это удивило не меньше, чем меня; она зевнула и в два-три быстрых, ловких движения оказалась на ногах.

– Я вся как деревяшка, – пожаловалась она. – Невозможно столько времени валяться на диване.

– Пожалуйста, не смотри на меня, – отрезала Дэзи. – Яс самого утра пытаюсь вытащить тебя в Нью-Йорк.

– Спасибо, нет, – сказала мисс Бейкер четверем бокалам с коктейлями, только что появившимся на столе. – Никогда не пью накануне.

Хозяин дома с недоверием посмотрел на нее.

– Уж будто! – Он залпом осушил свой бокал, словно там только и было что на доньшке. – Как тебе что-то удастся, для меня загадка.

Я посмотрел на мисс Бейкер, стараясь угадать, что такое ей «удается». Смотреть на нее было приятно. Она была стройная, с маленькой грудью, с очень прямой спиной, что еще подчеркивала ее манера держаться – плечи назад, точно у мальчишки-кадета. Ее серые глаза с ответным любопытством щурились на меня с хорошенького, бледного, капризного личика. Мне вдруг показалось, что я уже видел ее где-то, может быть на фотографии.

– Вы живете в Уэст-Эгге? – протянула она несколько свысока. – У меня там есть знакомые.

– А я там никого не...

– Не может быть, чтоб вы не знали Гэтсби.

– Гэтсби? – спросила Дэзи. – Какой это Гэтсби?

Я хотел было сказать, что это мой ближайший сосед, но тут доложили, что кушать подано, и Том Бьюкенен, властно прижав мускулистой рукой мой локоть, вывел меня из комнаты, точно шахматную фигуру переставил с клетки на клетку.

Томно, неторопливо, слегка придерживая платья на бедрах, обе молодые женщины шли впереди нас к столу, накрытому на розовой веранде, обращенной к закату. Четыре свечи горели на столе, затихающий ветер колебал их пламя.

– Это еще зачем? – нахмурилась Дэзи и пальцами погасила все свечи. – Через две недели будет самый долгий день в году. – Она обвела нас сияющим взглядом. – Случалось вам когда-нибудь ждать этого самого долгого дня – и потом спохватиться, что он уже миновал? Со мной это каждый год случается.

– Давайте придумаем что-нибудь, – зевнула мисс Бейкер, усаживаясь за стол с таким видом, словно она укладывалась в постель.

– Давайте, – сказала Дэзи. – Только что? – Она беспомощно оглянулась на меня. – Что вообще можно придумать?

Не дожидаясь ответа, она вдруг с ужасом уставилась на свой мизинец.

– Смотрите! – воскликнула она. – Я ушибла палец.

Мы все посмотрели – сустав посинел и распух.

– Это ты виноват, Том, – сказала она обиженно. – Я знаю, ты не нарочно, но все-таки это ты. Так мне и надо, зачем выходила замуж за такую громадину, такого здоровенного, неуклюжего дылду.

– Терпеть не могу это слово, – сердито перебил ее Том. – Не желаю, чтобы меня даже в шутку называли дылдой.

– Дылда! – упрямо повторила Дэзи.

Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой, бессодержательной болтовне не было легкости, она была холодной, как их белые платья, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желанья. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали: скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое. Все это было совсем не так, как у нас на Западе, где всегда с волнением торопишь вечер, час за часом подгоняя его к концу, которого и ждешь, и боишься.

– Дэзи, рядом с тобой я перестаю чувствовать себя цивилизованным человеком, – пожаловался я после второго бокала легкого, но далеко не безобидного красного вина. – Давай заведем какой-нибудь доступный мне разговор, ну хоть о видах на урожай.

Я сказал это не думая, просто так, но мои слова произвели неожиданный эффект.

– Цивилизация катится в пропасть, – со злостью выкрикнул Том. – Я теперь стал самым мрачным пессимистом. Читал ты книгу Годдарда «Цветные империи на подъеме»?

– Нет, не приходилось, – ответил я, удивленный его тоном.

– Великолепная книга, ее каждый должен прочесть. Там проводится такая идея: если мы не будем настороже, белая раса... Ну, словом, ее поглотят цветные. Это не пустяки, там все научно доказано.

– Том у нас становится мыслителем, – сказала Дэзи с неподдельной грустью. – Он читает разные умные книги с такими длиннющими словами. Том, какое это было слово, что мы никак...

– Не просто книги, а научные труды, – возразил раздраженно Том. – Этот Годдард развивает свою мысль до конца. От нас, от главенствующей расы, зависит не допустить, чтобы другие расы взяли верх.

– Мы должны сокрушить их, – шепнула Дэзи, свирепо подмигивая в сторону солнца, пламеневшего над горизонтом.

– Вот если б вы жили в Калифорнии... – начала мисс Бейкер, но Том прервал ее, шумно задвигавшись на своем стуле.

– Суть в том, что мы – представители нордической расы. Я, и ты, и ты, и... – После мгновенного колебания он кивком головы включил и Дэзи, и она тотчас же снова подмигнула мне. – И все то, что составляет цивилизацию, создано нами – наука там, и искусство, и все прочее. Понятно?

Было что-то патетическое в его настойчивости, как будто ему уже мало было упоения собственной личностью, с годами еще возросшего. Где-то в доме зазвонил телефон, лакей пошел ответить на звонок, и Дэзи, воспользовавшись минутным отвлечением, наклонилась ко мне.

– Я тебе открою фамильную тайну, – оживленно зашептала она. – Про нос нашего лакея. Хочешь узнать тайну про нос нашего лакея?

– Я только затем и приехал.

– Ну, слушай: раньше он был не просто лакеем, он служил в одном доме в Нью-Йорке, где имелось столового серебра на двести персон, – так вот, он заведовал этим серебром. С утра до вечера он его чистил и чистил, и в конце концов у него от этого сделался насморк...

– Дальше – хуже, – подсказала мисс Бейкер.

– Верно. Дальше – хуже, и дошло до того, что ему пришлось отказаться от места.

Заходящее солнце прощальной лаской коснулось порозовевшего лица Дэзи; я прислушивался к ее шепоту, невольно сдерживая дыхание и вытянув шею, – но вот розовое сияние померкло, соскользнуло с ее лица, медленно, неохотно, как ребенок, которого наступивший вечер заставляет расстаться с весельем улицы и идти домой.

Вернувшийся лакей сказал что-то почти на ухо Тому. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, пошел в комнаты. У Дэзи словно что-то быстрее завертелось внутри, она снова наклонилась ко мне и сказала напевным, льющимся голосом:

– Ах, Ник, если б ты знал, как мне приятно видеть тебя за этим столом. Ты похож на... на розу. Ведь правда? – обратилась она к мисс Бейкер за подтверждением. – Он настоящая роза.

Это был чистый вздор. Во мне нет ничего, даже отдаленно напоминающего розу. Она сболтнула первое, что пришло в голову, но от нее веяло лихорадочным теплом, как будто душа ее рвалась наружу под прикрытием этих неожиданных, огорошивающих слов. И вдруг она бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже ушла в комнаты.

Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. Я было хотел заговорить, но она вся подобралась на стуле и предостерегающе цыкнула в мою сторону. Из-за двери доносился чей-то взволнованный голос, и мисс Бейкер, вытянув шею, совершенно беззастенчиво вслушивалась. Голос задрожал где-то на грани внятности, упал почти до шепота, запальчиво вскинулся и совсем затих.

– Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед, – начал я.

– Молчите. Я хочу слышать, что там происходит.

– А там что-то происходит? – простодушно спросил я.

– Вы что же, ничего не знаете? – искренне удивилась мисс Бейкер. – Я была уверена, что все знают.

– Я не знаю.

– Ну, в общем... – Она замялась. – У Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке.

– Какая-то особа? – растерянно повторил я.

Мисс Бейкер кивнула.

– Могла бы, между прочим, иметь каплю совести и не звонить ему домой в обеденное время. Верно?

Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы – и хозяйка дома вернулась к столу.

– Неотложное дело! – нарочито весело воскликнула Дэзи.

Она уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня и продолжала как ни в чем не бывало:

– Я на минутку выглянула в сад, там сейчас все так романтично. В кустах поет птица, по-моему, это соловей – он, наверно, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет... – Она и сама почти пела, не говорила. – Ну разве не романтично, Том, скажи?

– Да, сплошная романтика, – сказал он и, словно ища спасенья, повернулся ко мне: – После обеда, если еще не совсем стемнеет, поведу тебя посмотреть лошадей.

Опять затрещал телефонный звонок; Дэзи, глядя на Тома, решительно покачала головой, и разговор о лошадях, да и весь вообще разговор, повис в воздухе. Среди осколков последних пяти минут, проведенных за столом, мне запомнились огоньки свечей – их почему-то опять зажгли – и мучившее меня желание в упор смотреть на всех остальных, но так, чтобы ни с кем не встретиться взглядом. Не знаю, о чем думали в это время Дэзи и Том, но даже мисс Бейкер с ее очевидной скептической закалкой едва ли удавалось не замечать трескучей стальной навязчивости этого пятого среди нас. Кому-нибудь другому вся ситуация могла показаться заманчиво пикантной, – но у меня было такое чувство, что необходимо срочно вызвать полицию.

Понятно само собой, что о лошадях больше и речи не было. Том и мисс Бейкер вернулись в библиотеку, словно бы для сумеречного бдения над невидимым, но вполне материальным покойником, а я, притворяясь светски оживленным и слегка тугим на ухо, шел вместе с Дэзи цепью сообщающихся балконов вокруг дома, пока эта прогулка не привела нас к центральной веранде, где было уже совсем темно. Там мы и уселись рядом на плетеном диванчике.

Дэзи прижала обе ладони к лицу, словно проверяя на ощупь его точеный овал, а глазами все пристальней, все напряженней впивалась в бархатистый полумрак. Я видел ее волнение, с которым она не в силах была совладать, и попытался отвлечь ее расспросами о дочке.

– Мы с тобой хоть и родственники, а мало знаем друг друга, Ник, – неожиданно сказала она. – Ты даже на свадьбе у меня не был.

– Я тогда еще не вернулся с войны.

– Да, верно. – Она помолчала. – Знаешь, Ник, мне очень много пришлось пережить, и я теперь как-то ни во что не верю.

Судя по всему, у нее для этого были основания. Я немного подождал, но продолжения не последовало, и тогда я довольно беспомощно ухватился опять за спасительную тему о дочке.

– Она, должно быть, уже разговаривает, и... и ест, и все такое.

– Ну конечно. – Она рассеянно взглянула на меня. – А хочешь знать, что я сказала, когда она родилась, Ник? Интересно тебе?

– Очень интересно.

– Это тебе поможет понять... многое. Еще и часу не прошло, как она появилась на свет, – а где был Том, бог его знает. Я очнулась после наркоза, чувствуя себя всеми брошенной и забытой, и сразу же спросила акушерку: «Мальчик или девочка?» И когда услышала, что девочка, отвернулась и заплакала. А потом говорю: «Ну и пусть. Очень рада, что девочка. Дай только бог, чтобы она выросла душой, потому что в нашей жизни для женщины самое лучшее быть хорошенькой дурочкой». Я, видишь ли, думаю, что все равно на свете ничего хорошего нет, – продолжала она убежденно. – И все так думают – даже самые умные, самые передовые люди. А я не только думаю, я знаю. Ведь я везде побывала, все видела, все попробовала. – Она вызывающе сверкнула глазами, совсем как Том, и рассмеялась звенящим, презрительным смехом. – Многоопытная и разочарованная, вот я какая.

Но как только отзвучал ее голос, принуждавший меня слушать и верить, я сейчас же почувствовал неправду в ее словах. Мне стало не по себе, как будто весь этот вечер был рассчитан на то, чтобы через обман и хитрость заставить меня волноваться чужим волнением. Прошла минута, и в самом деле – на прелестном лице Дэзи появилась самодовольная улыбка, словно ей удалось доказать свое право на принадлежность к привилегированному тайному обществу, к которому принадлежал и Том.

Алая комната цвела под зажженной лампой. Том сидел на одном конце длинной тахты, а мисс Бейкер, сидя на другом, читала ему вслух «Сатердей ивнинг пост» – в ее чтении все слова сливались в ровную убаюкивающую мелодию. Свет играл яркими бликами на ботинках Тома, тусклым золотом переливался в волосах мисс Бейкер, напоминая цвет осеннюю листву, скользил по страницам, перевортываемым упругим движением сильных, мускулистых пальцев.

Увидя нас, мисс Бейкер предостерегающе подняла руку.

– «Продолжение в следующем номере», – дочитала она и отбросила журнал. Потом, дернув коленкой, самоуверенно выпрямилась и встала с тахты. – Десять часов, – объявила она, поглядев, чтобы узнать это, на потолок. – Девочке-паиньке пора в постельку.

– У Джордан завтра состязания в Уэстчестере, – пояснила Дэзи. – Ей нужно ехать туда с самого утра.

– Ах, так вы – Джордан Бейкер!

Теперь я понял, почему мне знакомо ее лицо, – эта капризная гримаска достаточно часто мелькала на фотографиях, иллюстрирующих спортивную хронику Ашвилла, Хот-Спрингса и Палм-Бич. Я даже слышал о ней какую-то сплетню, довольно злую и неприглядную сплетню, но подробности давно вылетели у меня из головы.

– Спокойной ночи, – проворковала она. – И пожалуйста, разбудите меня в восемь часов.

– Ведь все равно не встанешь.

– Встану. Спокойной ночи, мистер Каррауэй. Мы еще увидимся.

– Конечно, увидите, – подтвердила Дэзи. – Я даже думаю, не сосватать ли вас. Приезжай почаще, Ник, я буду – как это говорится? – содействовать вашему сближению. Ну, знаешь, – то нечаянно запру вас вдвоем в чулане, то отправлю на лодке в открытое море, то еще что-нибудь.

– Спокойной ночи! – крикнула уже с лестницы мисс Бейкер. – Я ничего не слыхала.

– Джордан славная девушка, – сказал Том немного погодя. – Напрасно только ей разрешают вести такую бродячую жизнь.

– А кто это может разрешить ей или не разрешить? – холодно спросила Дэзи.

– Ну как кто – ее родные.

– Ее родные – это тетка, которой сто лет. Но теперь Ник приглядит за ней, правда, Ник? Она будет приезжать к нам каждую субботу. Я считаю, что атмосфера семейного дома должна оказать на нее благотворное влияние.

Дэзи и Том молча посмотрели друг на друга.

– Она из Нью-Йорка? – поспешно спросил я.

– Из Луисвилла. Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности.

– Ты что, вела с Ником на веранде задушевные разговоры? – спросил вдруг Том.

– Задушевные разговоры? – Она оглянулась на меня. – Не помню, но, кажется, мы беседовали о нордической расе. Да, да, именно об этом. Разговор возник как-то сам собой, мы даже не заметили.

– Ты смотри, Ник, не верь всякой чепухе, – предостерег меня Том.

Я беспечно сказал, что никакой чепухи я не слышал, и немного погодя стал прощаться. Они вышли меня проводить и, стоя рядышком в веселом прямоугольнике света, смотрели, как я усаживаюсь в машину. Я уже включил мотор, как вдруг Дэзи повелительно закричала: «Стой!»

– Я забыла спросить одну важную вещь. Мы слышали, что у тебя там, дома, есть невеста.

– Да, да, – с готовностью подхватил Том. – Мы слышали, что у тебя есть невеста.

– Клевета. Я слишком беден, чтобы жениться.

– А мы слышали, – настаивала Дэзи; к моему удивлению, она опять словно вся расцвела. –

Мы слышали от трех разных людей, значит, это правда.

Я отлично знал, о чем идет речь, но дело в том, что у меня в самом деле не было никакой невесты. Дурацкие слухи о моей помолвке и были одной из причин, почему я решил уехать на Восток. Нельзя раззнакомиться со старой приятельницей из-за чьих-то досужих языков, но, с другой стороны, мне вовсе не хотелось, чтобы эти досужие языки довели меня до брачного обряда.

Я был тронут радушным приемом Дэзи и Тома, даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня, – но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дэзи остается одно: схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома, – но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то меня не так поразило известие о «какой-то особе в Нью-Йорке», как то, что его душевное равновесие могло быть нарушено книгой. Что-то побуждало его вгрызаться в корку черствых идей, как будто несокрушимое плотское самодовольство больше не насыщало эту властную душу.

Уже совсем по-летнему разогрелись за день крыши придорожных закусочных и асфальт перед гаражами, где в лужицах света торчали новенькие красные бензоколонки. Вернувшись к себе в Уэст-Эгг, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валяющуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков, – хлопали птичьи крылья в листве деревьев, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка, я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один – шагах в пятидесяти, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего уэст-эгтского неба по праву причитается ему.

Я решил окликнуть его. Сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер, это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество: он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел; только где-то далеко

светился зеленый огонек, должно быть сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в беспокойной темноте.

## Глава II

Почти на полпути между Уэст-Эггом и Нью-Йорком шоссе подбегает к железной дороге и с четверть мили бежит с нею рядом, словно хочет обогнуть стороной угрюмый пустырь. Это настоящая Долина Шлака – призрачная нива, на которой шлак всходит, как пшеница, громоздится холмами, сопками, раскидывается причудливыми садами; перед вами возникают шлаковые дома, трубы, дым, поднимающийся к небу, и, наконец, если очень напряженно вглядеться, можно увидеть шлаково-серых человечков, которые словно расплываются в пыльном тумане. А то вдруг по невидимым рельсам выползет вереница серых вагонеток и с чудовищным лязгом остановится, и сейчас же шлаковые человечки закопошатся вокруг с лопатами и поднимут такую густую тучу пыли, что за ней уже не разглядеть, каким они там заняты таинственным делом.

Но проходит минута-другая, и над этой безотраднейшей землей, над стелющимися над ней клубами серой пыли вы различаете глаза доктора Т. Дж. Эклберга. Глаза доктора Эклберга голубые и огромные – их радужная оболочка имеет метр в ширину. Они смотрят на вас не с человеческого лица, а просто сквозь гигантские очки в желтой оправе, сидящие на несуществующем носу. Должно быть, какой-то фантазер-окулист из Квинса установил их тут в надежде на расширение практики, а потом сам отошел в край вечной слепоты или переехал куда-нибудь, позабыв свою выдумку. Но глаза остались, и, хотя краска немного слиняла от дождя и солнца и давно уже не подновлялась, они и сейчас все так же грустно созерцают мрачную свалку.

С одной стороны Долина Шлака упирается в сильно загаженную речонку, и, когда мост на ней разведен для пропуска барж, пассажирам местного поезда приходится иной раз битых полчаса любоваться унылым пейзажем. Задержка бывает здесь всегда, хотя бы на минуту, и благодаря этому я познакомился с любовницей Тома Бьюкенена.

О том, что у него есть любовница, говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Возмущенно рассказывали, что он появляется с нею в модных кафе и, оставив ее за столиком, расхаживает по всему залу, окликавая знакомых. Мне было любопытно на нее посмотреть, но знакомиться с нею я вовсе не хотел – однако пришлось. Как-то мы с Томом вместе ехали поездом в Нью-Йорк, и, когда поезд остановился у шлаковых куч, Том вдруг вскочил и, схватив меня под руку, буквально вытащил из вагона.

– Сойдем здесь, – настаивал он. – Я хочу познакомить тебя с моей приятельницей.

Он, должно быть, изрядно хватил за завтраком и, вздумав провести день в моем обществе, готов был осуществить свое намерение хотя бы силой.

Ему даже в голову не приходило, что у меня могут быть другие планы на воскресенье.

Следуя за ним, я перебрался через невысокую беленую стену, ограждавшую железнодорожные пути, и под пристальным взглядом доктора Эклберга мы прошли шагов сто в обратную сторону. Кругом не было видно никаких признаков жилья, кроме трех кирпичных строений, вытянувшихся в ряд на краю пустыря, – этакая Главная улица<sup>18</sup> в миниатюре, которая никуда не вела и ни с чем не пересекалась. В одном было торговое помещение, которое сейчас пустовало, в другом – ресторанчик, открытый круглые сутки, третье занимал гараж с вывеской: «Джордж Уилсон. Автомобили. Покупка, продажа и ремонт». Сюда мы и вошли.

Внутри было голо и убого; только в полутемном углу приткнулся поломанный «форд». Мне вдруг представилось, что этот гараж без машин – просто маскировка, отвод глаз, а над ним, должно быть, скрываются таинственные роскошные апартаменты; но тут из бокового закутка, служившего конторой, выглянул сам хозяин, вытирая ветошью руки. Это был рыхлый

---

<sup>18</sup> Главная улица — название центральной улицы (Мэйн-стрит) во многих небольших городках США, со временем превратившееся в символ маленького городка. Название романа С. Льюиса, опубликованного в 1920 г.

вялый блондин, анемичной, но, в общем, довольно приятной внешности. При виде нас в его голубых глазах заиграл влажный отсвет надежды.

– Привет, Уилсон, дружище, – сказал Том, весело хлопнув его по плечу. – Как делишки?

– Грех жаловаться, – отвечал Уилсон не слишком уверенным тоном. – Когда же вы продадите мне ту машину?

– На той неделе, мой шофер ее приводит в порядок.

– Мне кажется, он не очень спешит.

– А мне не кажется, – холодно отрезал Том. – Если вы не хотите ждать, я, в конце концов, могу продать ее и в другом месте.

– Нет, нет, что вы, – испугался Уилсон. – Вы меня не так поняли, я просто...

Конец фразы как-то заглох. Том в это время нетерпеливо оглядывался по сторонам. На лестнице вдруг послышались шаги, и через минуту плотная женская фигура загородила свет, падавший из закутка. Женщина была лет тридцати пяти, с наклоном к полноте, но она несла свое тело с той чувственной повадкой, которая свойственна некоторым полным женщинам. В лице, оттененном синим в горошек крепдешиновым платьем, не было ни одной красивой или хотя бы правильной черты, но от всего ее существа так и веяло энергией жизни, словно в каждой жилочке тлел готовый вспыхнуть огонь. Она неспешно улыбнулась и, пройдя мимо мужа, точно это был не человек, а тень, подошла к Тому и поздоровалась с ним за руку, глядя ему в глаза. Потом облизнула губы и, не поворачивая головы, сказала мужу грудным, хрипловатым голосом:

– Принес бы хоть стулья, людям присесть негде.

– Сейчас, сейчас. – Уилсон торопливо кинулся к своему закутку и сразу пропал на белом фоне стены. Налет шлаковой пыли выбелил его темный костюм и бесцветные волосы, как и все кругом, – только на женщине, стоявшей теперь совсем близко к Тому, не был заметен этот налет.

– Ты мне нужна сегодня, – властно сказал Том. – Едем следующим поездом.

– Хорошо.

– Встретимся внизу, на перроне, у газетного киоска.

Она кивнула и отошла – как раз в ту минуту, когда в дверях показался Уилсон, таща два стула.

Мы подождали ее на шоссе, отойдя настолько, чтобы нас не было видно. Приближался праздник Четвертого июля<sup>19</sup>, и тщедушный мальчишка-итальянец с серым лицом раскладывал вдоль железнодорожного полотна сигнальные петарды.

– Ужасная дыра, верно? – сказал Том, неодобрительно переглянувшись с доктором Эклбергом.

– Да, хуже не придумаешь.

– Вот она и рада бывает проветриться.

– А муж – ничего?

– Уилсон? Считается, что она ездит в Нью-Йорк к сестре в гости. Да он такой олух, не замечает даже, что живет на свете.

Так случилось, что Том Бьюкенен, его дама и я вместе отправились в Нью-Йорк, – впрочем, не совсем вместе: приличия ради миссис Уилсон ехала в другом вагоне. Со стороны Тома это была уступка щепетильности тех обитателей Уэст-Эгга, которые могли оказаться в поезде.

Она переделалась, и на ней теперь было платье из коричневого в разводах муслина, туго натянувшееся на ее широковатых бедрах, когда Том помогал ей выйти из вагона на Пенсиль-

---

<sup>19</sup> Праздник Четвертого июля – День независимости, главный национальный праздник США, отмечается ежегодно в честь принятия Декларации независимости 4 июля 1776 г. и образования Соединенных Штатов Америки.

ванском вокзале. В газетном киоске она купила киножурнал и номер «Таун Тэттл»<sup>20</sup>, а у аптекарского прилавка – кольдкрем<sup>21</sup> и флакончик духов. Наверху, в гулком полумраке крытого въезда, она пропустила четыре такси и остановила свой выбор только на пятом – новеньком автомобиле цвета лаванды, с серой обивкой, который наконец вывез нас из громады вокзала на залитую солнцем улицу. Но не успели мы отъехать, как она, резко откинувшись от окна, застучала в стекло шоферу.

– Хочу такую собачку, – потребовала она. – Пусть у нас в квартирке живет собачка. Это так уютно.

Шофер дал задний ход, и мы поравнялись с седым стариком, до нелепости похожим на Джона Д. Рокфеллера<sup>22</sup>. На груди у него висела корзина, в которой копошилось с десятков новорожденных щенков неопределенной масти.

– Это что за порода? – деловито осведомилась миссис Уилсон, как только старик подошел к машине.

– Всякая есть. Вам какая требуется, мадам?

– Мне бы хотелось немецкую овчарку. Такой у вас, наверно, нет?

Старик с сомнением глянул в свою корзину, запустил туда руку и вытащил за загривок барахтающуюся собачонку.

– Это не немецкая овчарка, – сказал Том.

– Да, пожалуй что не совсем, – огорченно согласился старик. – Это скорее эрдельтерьер. – Он провел рукой по коричневой, словно бобриковой, спинке. – Вы посмотрите, шерсть какая. Богатая шерсть. Уж эту собаку вам не придется лечить от простуды.

– Она дуся! – восторженно объявила миссис Уилсон. – Сколько вы за нее хотите?

– За эту собаку? – Он окинул щенка восхищенным взглядом. – Эта собака вам обойдется в десять долларов.

Эрдельтерьер – среди его предков, несомненно, был и эрдельтерьер, несмотря на подозрительно белые лапы, – переключал на колени к миссис Уилсон, которая с упоением принялась гладить морозоустойчивую шерсть.

– А это мальчик или девочка? – деликатно осведомилась она.

– Эта собака? Эта собака – мальчик.

– Сука это, – уверенно сказал Том. – Вот деньги, держите. Можете купить на них еще десяток щенков.

Мы выехали на Пятую авеню, такую тихую, мирную, почти пасторально-идиллическую в этот теплый воскресный день, что я не удивился бы, если б из-за угла вдруг появилось стадо белых овец.

– Остановите-ка на минуту, – сказал я. – Здесь я вас должен покинуть.

– Ну уж нет, – запротестовал Том. – Миртл обидится, если ты не согласишься ее квартиру. Правда, Миртл?

– Поедемте с нами, – попросила миссис Уилсон. – Я позвоню Кэтрин. Это моя сестра, она красавица – так говорят люди понимающие.

– Я бы с удовольствием, но...

Мы покатали дальше, пересекли парк и выехали к западным сотым улицам. Вдоль Сто пятьдесят восьмой длинным белым пирогом протянулись одинаковые многоквартирные дома. У одного из ломтиков этого пирога мы остановились.

---

<sup>20</sup> «Town Tattle» – «Городские сплетни» (англ.).

<sup>21</sup> Кольдкрем — белая воздушная мазь для смягчения кожи, состоящая из 8 частей спермацета, 1 части воска, 24 частей миндального масла и 24 частей розовой воды.

<sup>22</sup> Джон Дэвисон Рокфеллер (1839–1937) – основатель династии нефтепромышленников и финансистов, филантроп. При уходе в отставку был богатейшим человеком в мире. На филантропические цели пожертвовал в общей сложности около 500 млн долларов. Его сын и внук, носившие то же имя, также были финансистами, бизнесменами и филантропами.

Оглядевшись по сторонам с видом королевы, возвращающейся в родную столицу, миссис Уилсон подхватила щенка и прочие свои покупки и величественно проследовала в дом.

– Позвоню Мак-Ки, пусть они тоже; зайдут, – говорила она, пока мы поднимались в лифте. – И не забыть сразу же вызвать Кэтрин.

Квартирка находилась под самой крышей – маленькая гостиная, маленькая столовая, маленькая спальня и ванная комната. Гостиная была заставлена от двери до двери чересчур громоздкой для нее мебелью с гобеленовой обивкой, так что нельзя было ступить шагу, чтобы не наткнуться на группу прелестных дам, раскачивающихся на качелях в Версальском парке. Стены были голые, если не считать непомерно увеличенной фотографии, изображавшей, по-видимому, курицу на окутанной туманом скале. Стоило, впрочем, отойти подальше, как курица оказывалась вовсе не курицей, а шляпкой, из-под которой добродушно улыбалась почтенная старушка с пухленькими щечками. На столе валялись вперемешку старые номера «Таун Тэтл», томик, озаглавленный «Симон, называемый Петром»<sup>23</sup>, и несколько журнальчиков из тех, что питаются скандальной хроникой Бродвея. Миссис Уилсон, войдя, прежде всего занялась щенком. Мальчик-лифтер с явной неохотой отправился добывать ящик с соломой и молоко; к этому он, по собственной инициативе, добавил жестянку больших твердокаменных собачьих галет – одна такая галета потом до самого вечера уныло кисла в блюдечке с молоком. Пока шли все эти хлопоты, Том отпер дверцу секретера и извлек оттуда бутылку виски.

---

<sup>23</sup> «Симон, называемый Петром». – Симон – первоначальное имя Петра, одного из двенадцати апостолов (Новый Завет).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.